

Д. С. ЛИХАЧЕВ

ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЭТИКЕТ РУССКОГО СРЕДНЕВЕКОВЬЯ

Доклад мой посвящен весьма важному для развития русской литературы и русского литературного языка явлению, до сих пор мало определенному в своей основе. Явление это я условно предлагаю назвать литературным этикетом.

В. О. Ключевский подобрал довольно много формул, якобы специально присущих житийному жанру [261]. А. С. Орлов сделал то же самое для жанра воинской повести [392, 391]. Формулы эти хорошо известны каждому специалисту по древнерусской литературе: "за руки ся емлюще сечаху", "по удолом кровь течаше яко река", "стук и шум страшен бысть, вки гром", "быхся крепко и вешадно, яко и земли постонати", "и поидоше полци, вки борозе" и т. д. Однако ни В. О. Ключевский, ни А. С. Орлов не обратили внимания на то обстоятельство, что и "житийные формулы" и "воинские формулы" постоянно встречаются вне житий и вне воинских повестей: например, в летописи, в хронографе, в исторических повестях, даже в ораторских произведениях и посланиях. И это весьма важно, ибо не жанр произведения определяет собой выбор выражений, а предмет, о котором идет речь. Именно предмет, о котором идет речь, является как бы сигналом для несложного подбора трафаретных формул. Раз речь заходит о святом — житийные формулы обязательны, будет ли о нем говориться в житии, в летописи, или в хронографе. Эти формулы подбираются в зависимости от того, что говориться о святом, о каком роде событий повествует автор. Точно также обязательны воинские формулы, когда рассказывается о военных событиях — в воинской повести или в летописи, в проповеди или в житии. Есть формулы, применяемые и выступавшие в поход своего князя, — другие

в отношении врага, формулы, определяющие различные моменты битвы, победы, поражения, возвращение в свой город и т. д. Военские формулы могут встречаться в житии, житийные формулы — в воинской повести, те и другие в летописи или в поучении. Жанр произведения имеет в этих случаях второстепенное значение. Легко убедиться в этом, пересмотрев любую летопись: Ипатьевскую, Лаврентьевскую, одну из новгородских и др. Один и тот же летописец не только применяет различные "формулы": житийные, воинские, некрологические и т. д., но по несколько раз меняет всю манеру, стиль своего изложения, в зависимости от того, пишет ли он о сражении князя или о его смерти, передает ли содержание его договора, или рассказывает о его женитьбе.

Однако дело не только в формулах: меняется и сам язык, которым автор пишет. Легко заметить различия в языке одного и того же писателя; философствуя и размышляя о бренности человеческого существования, он прибегает к церковнославянизмам, рассказывая о бытовых делах — к народно-русским. Литературный язык отнюдь не един. В этом нетрудно убедиться, перечитав *Поучение* Мономаха: язык этого произведения "трехслоен" — в нем есть и церковнославянская стихия, и деловая, и народнопоэтическая (последняя, впрочем, в меньших размерах, чем первые две). Если бы мы судили об авторстве этого произведения только по стилю и по языку, то могло бы случиться, что мы приписали бы его трем авторам. Но дело в том, что каждая манера, каждый из стилей литературного языка и даже каждый из языков (ибо Мономах пишет и по-церковнославянски и по-русски) употреблен им со средневековой точки зрения вполне уместно — в зависимости от того, касается ли Мономах церковных сюжетов (в широком смысле), своих походов или душевного состояния своей молодой снохи. В связи с этим необходимо напомнить чрезвычайно важное положение Д. П. Якубинского, что

церковно-славянский язык Киевской Руси X—XI вв. был ограничен, отличался от древнерусского народного языка не только в действительности, ... но и в сознании людей [231, с. 102—03].

В самом деле, наряду с бессознательным стремлением к ассимиляции церковно-славянского и древнерусского языка следует отметить и противоположную тенденцию — к сознательной диссимляции. Именно этим объясняется то обстоятельство, что церковно-славянский язык, несмотря на все ассимиляционные процессы, дожил до XX в. Церковно-славянский язык постоянно осознавался как язык высокий, книжный и церковный. Выбор писателем церковно-славянского языка или церковно-славянского слова и форм для одних случаев, древнерусского — для других, а народно-поэтической речи для третьих, был выбором всегда сознательным и зависел от того, о каком предмете говорит автор. Церковно-славянский язык не отдалим от цер-

ковного содержания, русский — от национально-русского, народно-поэтическая речь — от народно-поэтических сюжетов, деловая речь — от деловых. Церковно-славянский язык постоянно отделился в сознании читателей и писателей от народного и от делового. Именно благодаря сознанию, что церковно-славянский язык — язык "особый", могло сохраниться и само различие между церковно-славянским языком и народным.

Вслед за Л. П. Якубинским, нам представляется совершенно неправильным следующее положение А. А. Шахматова, занимающее центральное место в его концепции происхождения и развития русского литературного языка, что церковно-славянский язык

с первых же лет своего существования на русской почве стал неудержимо (подчеркнуто мною, — Д. Л.) ассимилироваться народному языку, ибо говорившие на нем русские люди не могли (подчеркнуто мною, — Д. Л.) разграничить в своей речи ни свое произношение, ни свое словоупотребление и словоизменение от усвоенного ими церковного языка [335, с. 61].

Нет нужды приводить примеры сознательного стремления к разграничению церковно-славянского и русского языка, церковно-славянских и русских форм. Любопытно, однако, что при всей устойчивости сознания "особности" церковно-славянского языка, содержание этого сознания менялось. До XVII в. церковно-славянский язык был прежде всего языком церковным, но в XVIII и XIX вв. отдельные церковно-славянизмы "секуляризировались", они стали признаком высокого, поэтического языка вообще. Также точно менялось представление об "особности" делового языка. Было бы чрезвычайно важно изучить в будущем историческую изменчивость содержания этого сознания "особности" того или иного языка.

Для нас важно, однако, следующее: употребление церковно-славянского языка явно подчинялось в средние века определенным правилам: церковные сюжеты требовали церковного языка.

Эти средневековые правила в употреблении соответствующего языка или стиля языка наблюдались не только на Руси. Они еще значительно в средневековых литературах многих других стран.

Важно отметить, что смешение разных языков и разных стилей языка бессознательно, разграничение же — всегда сознательно. Оно диктуется определенными требованиями вкуса, сознательностью художественного творчества.

Что же лежит в основе этого разграничения? Какие правила, какие требования вызывают выбор писателем определенного стиля, стилистических формул (в описках, житийных, деловых и пр.)? Я думаю, что в основе этих разграничений и правил лежит своеобразные средневековые представления о литературном "приличии", своеобразный литературный "церемониал", литературный этикет. В дальнейшем я остановлюсь подробнее на

вопросе о том, чем этот литературный этикет вызывался. Сейчас же обратимся к примерам прозаичной литературы другого рода.

В самом деле, литературный этикет не может быть ограничен пределами словесного выражения. Не все из того, что было отмечено А. С. Орловым в качестве словесных формул, является действительно только этими словесными формулами. Так, например, среди различных "воинских формул" А. С. Орлов упоминает "помощь небесной силы" русскому войску; враги то "гонами гневом Божиим", то гневом Божиим и святой Богородицы; иногда бог вливает страх в сердца врагов; иногда враги бывают гонимы "невидимой силой", а иногда ангелами и т. д. [392, с. 37-40]. Это все трафареты ситуации, а не словесного выражения. Словесное выражение этого трафарета может быть различным, также точно, как и словесное выражение различных других трафаретов ситуации в описании собирания, выступления войска и нападения, в описании жизни святого — его рождения от благочестивых родителей, удаления в пустыню, подвигов, основания монастыря, благочестивой смерти и посмертных чудес.

Дело, следовательно, не только в том, что определенные выражения и определенные стили изложения подбираются к соответствующим ситуациям, но в том, что отдельные элементы этих ситуаций создаются писателями именно такими, какие необходимы по этикетным требованиям своего времени: князь молится перед выступлением в поход, его дружина обычно малочисленна, тогда как войско противника громадно и враг выступает "в силе тяжце", "пылая духом ратным" и т. д.

Соблюдение этикетных правил в поведении действующих лиц может быть продемонстрировано хотя бы на Уляжии о жизни и о полюдствии Бориса и Глеба. Как и большинство литературных произведений средневековья, Уляжия от начала и до конца пронизана обостренным чувством этикета. Описывая жизнь Бориса и Глеба, автор старится заставить их вести себя так, как надлежит вести себя святым. Он вкладывает в их уста пространные выражения кротости и благочестия, описывает их покорность старшему брату — Святославу, их отказ от сопротивления убийцам и объясняет те из их поступков, которые несколько расходятся с общепринятым представлением о святости (например, женитьбу Бориса). Распределая роли своим действующим лицам, автор озабочен подысканием образцов: Владимир — второй Константин, Борис — Иосиф Прекрасный, Глеб — Давид, Святослав — Кали и т. д. Киевляне при крещении ведут себя совершенно "прилично". Все идут креститься и "ни доле еликому сопротивляюхуся; но аки издавна илучены, тако течяху, радухуся, к крещению" [2, с. 5]. Эти слова значительны: люди ведут себя как "илучены" илучены: благовоспитанность ведь дается именно наукою и воспитанием. Они "радуется" — этого также требует благовоспитанность. Борис, как только становится "в разуме", ищет образцов для подражания. Он обращается к Богу с молитвой:

Эта молитва об этикете и она вложена в уста Бориса также по этикету — житийному. Этикетна, следовательно, даже сама просьба к богу помочь Борису в соблюдении этикета.

Откуда берется этот этикет ситуаций? Здесь предстоит произвести много разыскания: часть этикетных правил взята из жизненного обихода, из реальной обрядности, часть — создана в литературе. Примеры жизненно-реального этикета многочисленны. Здесь в основном этикет церковный и княжеский (верхов феодального общества). Так, например, в цитированном уже нами Чтениях о жизни и полюблении Бориса и Глеба, когда Владимир посылает Бориса против печенегов, Борис прощается в отъезде по этикету своего времени:

Блаженный же паче поклоуся отцу своему и облобыза честней ноге его, и пакы вьстава, обукт выю его, целоваша съ слезами [2, с. 7].

Агиограф конца XI в. не был свидетелем этого прощания и не мог найти описания его в предшествующих устных и письменных материалах: он сочинил эту сцену, исходя из представлений о том, как она должна была бы совершиться, принимая во внимание идеальность и, следовательно, "благовоспитанность" обоих действующих лиц. Связь литературного этикета с этикетом общественным несомненна. В литературный этикет проникают отдельные требования этикета жизненно-реального. Средневековое сознание в очень сильной степени склонно к этикету в целом. Феодализм времени своего возникновения и расцвета с его крайне сложной лестницей отношений вассалитета-сюзеренитета создал чрезвычайно развитую обрядность: церковную и светскую. Взаимоотношения людей между собой и их отношения к богу подчинялись этикету, традициям, обычаям, церемонии, до такой степени развитым и деспотичным, что они пролизывали собой и, в известной мере, овладевали мировоззрением и мышлением человека.

Из общественной жизни склонность к этикету проникает в искусство. Изображения святых в живописи также в известной мере подчиняются этикету: иконописные подлинники предписывают изображение каждого святого в строго определенных положениях со всеми присущими ему атрибутами; тоже касалось и изображения событий из их жизни или событий священной истории.

Как известно, этикет феодального двора в широкой степени повлиял на иконографические сюжеты. В этом отношении огромный интерес представляет работа крупнейшего современного специалиста по византийскому искусству А. Грабара [168]. Целый ряд моментов византийского придворного ритуала сказался в сложении иконографических сюжетов: обряд посвящения

чиновника в сия императором, церемония поклоения императору, церемония поднесения императору даров варварами, обряд траурального шествия императора и т. д.

Помимо живописи этикет может быть вскрыт в строительном искусстве средневековья и в прикладном, в одежде и в теологии, в отношении к миру и в политической жизни. Это была одна из основных форм идеологического принуждения в средние века.

В русской средневековой литературе роль этикетных норм чрезвычайно велика. Это наиболее типичная средневековая условно-нормативная связь содержания с формой. Дело однако заключается не только в том, что определенное содержание требует в средние века соответствующей ему этикетной формы. Литературный этикет выступает очень часто в качестве своеобразного творческого начала, этикетная форма обладает собственной иерархией, подчиняющей себе в отдельных случаях содержание, и иногда стимулирующей литературное творчество. Это — своеобразный средневековый "формализм" литературы, формализм, весьма ограниченный, проявляющийся только в некоторых случаях, но с возможностью которого литературовед тем не менее должен постоянно считаться.

Мы видели выше, что эпизод прощания Бориса с Владимиром в Угличе о змеях и погублении Бориса и Глеба сочинен на основании княжеского этикета своего времени. Это случай далеко не единичный. Большинство "распространений" предшествующих редакций — именно этого рода. Характерный пример: появление описания похорон Евпатия Коловрата в одной из редакций XVI в. *Повесть о Николае Заразском*. Этого описания не было в первых редакциях, оно создано на основе обряда и обычая в XVI в., когда в силу ряда причин явилась потребность почтить главного героя повести пышными похоронами [313, с. 338].

Знаменательно, однако, что взятым из жизни, из реальных обычаев этикетным нормам подчинялось только поведение идеальных героев. Поведение же злодеев, отрицательных действующих лиц этому этикету не подчинялось. Оно подчинялось только чистому литературному по своему происхождению этикету. Поэтому поведение злодеев не подпадало под этикетную конкретизацию в той же мере как и поведение идеальных героев. Поведение злодеев более отвлеченно, в их уста реже вкладываются вымышленные речи. Злодеи идут рыкающе, "аки зверие дивни, поглотити хотяше праведнаго" [2, с. 10]. Они сравниваются со зверями и как звери не подчиняются реальному этикету, но само сравнение их со зверями — литературный канон, это повторяющаяся литературная формула. Здесь чисто литературный по своему происхождению этикет целиком вытесняет замаскированный из реального быта.

Стремлением подчинять изложение этикету, создавать литературные каноны можно объяснить и обычный в средневековой литературе перенос отдельных описаний, речей, формул из одного произведения в другое.

В этих переносах нет сознательного стремления обмануть читателя, выдать за исторический факт то, что на самом деле взято из другого литературного произведения. Дело просто в том, что из произведения в произведение переносилось в первую очередь то, что имело отношение к этикету: речи, которые должны были произвестись в данной ситуации, поступки, которые должны были бы быть совершенны действующими лицами при данных обстоятельствах, приличествующая случаю авторская интерпретация происходящего и т. д. Писатель считает, что этикетом целиком определялось поведение идеального героя и он воссоздает это поведение по этикетным правилам, прибегая к различного рода "образцам поведения" в других произведениях и не стеснясь заимствовать из них и самую форму изложения.

Так оправдываются, например, заимствования в *Житии Довмонта* из *Жития Александра Невского*. Заимствования эти идут в первую очередь по линии соблюдения этикета. Сборы на врагов — этикетный момент и Довмонт выступает в ход также как и Александр Невский. Довмонт падает на колени перед алтарем как Александр, молится как Александр, получает благословение от игумена подобно тому как получает его от архиепископа Александр, идет на врагов "с малою дружиною", как и Александр, и т. д.

Этикет объясняет заимствования из одного произведения в другое, устойчивость формул и ситуаций, способы образования "распространенных" редакций произведений, отчасти интерпретацию тех фактов, которые легли в основу произведений, и мн. др.

Древнерусский писатель с непобедимой уверенностью влагал все исторически происшедшее в соответствующие церемониальные формы, создавал разнообразные литературные каноны, Житийные, воинские и прочие формулы, этикетные саморекомендации авторов, этикетные формулы интродукции героев, приличествующие случаю молитвы, речи, размышления, формулы психологических характеристик и многочисленные требуемые этикетом поступки и ситуации переносятся из произведения в произведение. Авторы стремятся все вести в известные нормы, все классифицировать, сопоставить с известными случаями из священной истории, снабдить соответствующими цитатами из священного писания и т. д. Средневековый писатель ищет прецедентов в прошлом, озабочен образцами, формулами, аналогиями, подбирает цитаты, подчиняет события, поступки, думы, чувства и речи действующих лиц и свой собственный язык заранее установленному "чину" как настоящий церемониймейстер. Если писатель описывает поступки князя, — он подчиняет их княжеским идеалам поведения, если перо его живописует святого, — он следует этикету церкви; если он описывает поход врага Руси, — он и его подчиняет представлениям своего времени о враге Руси. Воинские эпизоды он подчиняет воинским представлениям,

житийные — житийным, эпизоды мирной жизни князя — этикету его двора и т. д. Писатель жаждет ввести свое творчество в рамки литературного этикета, стремится писать обо всем "как подобает", стремится подчинить литературному этикету любую деталь описываемого, но заимствуют эти этикетные нормы из разных областей: из более ранних оригинальных и переводных произведений, из церковных представлений, из представлений дружинника-воина, из представлений придворного, из представлений теолога и т. д. В результате единство этикета в древней русской литературе отсутствует, как отсутствует и требование единства стиля. Все подчиняется своей точке зрения. Военские эпизоды описываются писателем согласно представлениям воина об идеальном воине; житийные — согласно представлениям агнографа. Он может переходить от одних представлений к другим, всюду стремясь писать согласно "приличествующим случаю" представлениям, в "приличествующих случаю" словах.

Было бы неправильным усматривать в литературном этикете русского средневековья только совокупность механически повторяющихся шаблонов и трафаретов, переносимых в литературу из разных сфер средневековой жизни и разных жанров средневековых литератур. Все дело в том, что все эти словесные формулы, стилистические особенности, определенные, повторяющиеся ситуации и т. д. применяются средневековыми писателями вовсе не механически, а именно там, где они требуются по эстетическим представлениям своего времени. Писатель выбирает, размышляет, озабочен общей литературной "благообразностью" изложения. Самые литературные каноны, формулы, стили варьируются им в зависимости от его представлений о "литературном приличии". Это "литературное приличие" понятие эстетическое в первую очередь. Самые литературные трафареты и шаблоны могут творчески меняться, они могут отсутствовать в повествовании о том или ином сложном событии. Их применение отнюдь не механично. Несмотря на отсутствие единства этикета, автор учитывает литературное целое своего произведения, в известной мере требования жанра, дух и характер выражаемых им идей.

Перед нами творчество, а не механический подбор трафаретов, — творчество, в котором писатель стремится выразить свои представления о должном, приличествующем и эстетически ценном.

Литературный этикет русского средневековья нуждается в своем изучении прежде всего как явление идеологии, мировоззрения, эстетики. Если мы станем изучать литературные каноны — все эти "военские формулы", "формулы житийные", этикетные положения и т. д. — вне охватывающего их литературного мировоззрения, вне эстетических представлений своего

времени, — мы не уйдем дальше элементарного составления картотеки литературных трафаретов и не поймем эстетической ценности литературы с ними связанной.

Система литературного этикета продержалась в древней русской литературе несколько веков. В конце концов эта система тормозила развитие литературы, вела к некоторой косности литературного творчества, хотя никогда не подчиняла его окончательно. В частности, так называемые "элементы реалистичности" в древней русской литературе, наличие которых усматривается в ряде древнерусских повестей о феодальных преступлениях (в рассказах об ослеплении Василька Теребовльского, убийстве Игоря Ольговича, преступлении Владимирки Галицкого, убийстве Андрея Боголюбского, смерти Владимира Васильевича Волынского, ослеплении Василия II Дмитриевича, смерти Дмитрия Красного и т. д.), являются нарушением литературного этикета. Эти нарушения постепенно нарастают. В литературе исподволь развиваются силы, которые боролись с литературным этикетом, с литературными канонами, вели к их нарушению.

Как произошло падение системы литературных канонов? Процесс этот очень интересен. С образованием Русского централизованного государства литературный этикет казался бы не только не ослабевает, но, напротив, становится необыкновенно пышным. Возьмем, например, воинские формулы *Казанской истории*, *Летописца начала царствования*, *Степенной книги*, или *Повести о взятии Пскова Стефаном Баторием*. Они значительно пространнее и вычурнее, чем в *Ипатьевской летописи*. Авторы не довольствуются их краткой устойчивой формой. Они вводят различного рода "распространения", стремятся к соединению пышности с наглядностью и т. д. Но в результате такого рода разрастания литературных канонов теряется их устойчивость.

Разрушение литературных канонов совершилось одновременно с пышным развитием этикета в реальной жизни. Изучение зависимости разрушения литературных канонов от подъема этикета в государственной практике представляет очень большой интерес для литературоведения.

В самом деле, обрядовая сторона жизни русского государства достигла очень большой степени развития в XVI в. Литература вынуждена была воспроизводить содержание разрядных книг, чина, венчания на царство, описывать сложные церемонии. Литературе как искусству угрожала серьезная опасность. И эта опасность осознавалась. Писатели стремятся поэтому оживить церемониальную сторону своих описаний реально-наблюдательными подробностями. Усложнение этикета начинает сочетаться с ростом

реалистических элементов в литературе. Это парадоксальное сочетание отчетливо заметно, например, в *Казанской истории*. Покажу это на одном примере. Перед выступлением русских войск устраивается их смотр, "воины являются изодевшиеся в пресветлая своя одеяния и со всеми отроки своими, тако же и добрыя своя коня во утварех красных ведуще" и особо подчеркивается, что все было именно так "яко достоит быти на ратех воеводам" [255, с. 117], т. е. что все совершилось согласно этикету. Но вот то обстоятельство, что собранного в Москву войска было так много, что в городе не было места ни по улицам, ни "по домам людским" и приходилось размещаться около посадов "по полю и по лугом в шатрах своих", а царь наблюдал за прохождением войска, стоя "на полатных своих лестницах" [255, с. 117] это уже детали, жизненно наблюдаемые и никаким этикетом не предусмотренные.

Также точно происходит столкновение развития этикета с развитием склонности конкретизировать изложение в прямой речи. Речь Грозного к своим воеводам в *Казанской истории*, в точности воспроизводит отдельные формулы из обращения русских князей к дружинникам перед битвами, но в отличие от кратких княжеских ободрений XII - XIII вв. речь Грозного пышна и пространна, отдельные формулы конкретизированы, сравнения развиты, им придана наглядность, смысл их разъяснен [255, с. 137 - 38].

Этим же путем идет и подновление этикетных формул. Так, например, формула "яко по удолим кровю теши" приобретает зрительно представимые черты "яко великия дужи дождевыя воды, кровь стояше по низким местом и очерляевахше землю" [255, с. 156].

Обобщая, можно сказать, что явления литературного этикета стремятся в XVI - XVII вв. к увеличению, к возрастанию и, тем самым от состояния организации и дифференциации переходят в состояние смешения и слияния с окружающими формами. Устойчивый и компактный вначале, этикет становится затем все более пышным и, одновременно, расплывчатым и постепенно растворяется в новых литературных явлениях XVI и XVII вв. И это отнюдь не вследствие "внутренних законов" развития литературы и литературного языка. Происходит крушение этикетности вообще, связанное с изменениями существа порождающего ее феодализма.

Дело в том, что с образованием централизованного государства пышность этикета возрастает, однако этикет перестает быть жизненно необходимой для феодализма формой идеологического принуждения: в централизованном государстве другие формы принуждения достаточно разнообразны и надежны. Нужна пышность этикета, но не очень необходим его принудительность. Из явления принуждения этикет стал явлением оформления государственного быта. Процесс падения литературного этикета совершается поэтому и другим путем: этикетный обряд существует, но он

отрывается от ситуации его требующей; этикетные правила, этикетные формулы остаются и даже разрастаются, но соблюдаются они крайне неумело, употребляются "не к месту", но в тех случаях, когда это нужно. Этикетные формулы применяются без того строгого разбора, который был характерен для предшествующих веков. Формулы, описывающие действия врагов, применяются к русским, а формулы, предназначенные для русских, — к врагам. Расматывается и этикет ситуации. Русские и враги ведут себя одинаково, произносят одинаковые речи, одинаково описываются действия тех и других, их душевные переживания.

Яркие примеры этих смешений литературного этикета дает опять-таки *Казанская история*. Разительное нарушение литературного этикета представляет собой в *Казанской истории* описание выступления русского войска из Коломны. Автор *Казанской истории* говорит о русском войске в образах, которые раньше можно было применить только в войску врага: русских воинов было так много, как у вавилонского царя, когда он наступал на Иерусалим [255, с. 124]. Перед нами описание выступления врага Русской земли с "дванадесятью языками", но отнюдь не великого князя русского с русским войском. Элементы этого описания взяты из описания нахождения Батыя на Киев в *Ипатьевской летописи* (под 1240 г.).

Царь Иван Грозный подступает к Казани

не худшее Антиоха явленного егда прииде Иерусалим пленовати [255, с. 127].

Правда, автор *Казанской истории* делает оговорку:

но он (Антиох, — Д. Л.) неверен и поган, и хотяше закон иудовский постребити, и церковь Божию осквернити и разорити, се же (Иван Грозный, — Д. Л.) верный и на поверных и за беззаконие к нему и за злодеяние их прииде погубити их [255, с. 127].

но оговорка эта не спасает неловкости и дальнейшее описание прихода русских войск под Казань прямо напоминает обычные подступы вражеского войска на Русь [255, с. 127]. Это описание представляет собой неслыханное нарушение этикета, и нарушение это не единственное: подобные нарушения встречаются в *Казанской истории* на каждом шагу: воинские формулы сохранены, но применяются они к своим и к врагу без особого разбора. Литературная "воспитанность" автора *Казанской истории* ограничивается немногими оговорками, подчеркивающими его сочувствие русским, — и только. Нарушения этикета простираются до такой степени, что враги Руси молятся православному богу [255, с. 51] и видят божественные видения [с. 130—31, 154] а русские совершают злодеяния как враги и отступники [153—57].

Эти странные нарушения этикета можно было бы попытаться объяснить тем, что автор Казанской истории был пленником в Казани, и может быть даже тайным сторонником казанцев, но уместно напомнить, что автор Летописи о славе Царьграда XV в. — Нестор Инокандер был также пленником у турок, но ни одного случая нарушения литературного этикета у последнего наблюдения невозможно. Сочувствие автора Казанской истории русским и Греческому не вызывает сомнений [363]. Да и самое количество списков Казанской истории, обращавшихся среди русских читателей, свидетельствует о том, что перед нами произведение отнюдь не враждебное русским.

Нарушения литературного этикета в Казанской истории имеют сходство с нарушениями этикета точки зрения на действующих лиц в Хрониках 1617 г. Автор Казанской истории смешивает этикет в отношении русских и их врагов подобно тому, как автор Хрониках 1617 г. смешивает дурные и хорошие качества в характеризуемых им лицах [Подробнее см. 312, с. 15—22]. И тут и там разрушается принятивно-морализирующее отношение к объекту повествования, с тем только различием, что в Хрониках 1617 г. это разрушение проведено глубже и последовательнее.

И так разрушение системы литературного этикета началось еще в XVI в., но целиком эта система не была разрушена ни в XVI, ни в XVII вв., а в XVIII в. частично заменена другой. Особо отметим, что разрушение этикета совершалось прежде всего в светской части литературы. В сфере церковной литературный этикет был нужнее и здесь он сохранялся дольше, хотя Аввакум в своих произведениях и устремляет против него настоящий бунт, впрочем больше похожий на самосожжение, ибо литературный эффект этого бунта против этикета мог существовать только до той поры, пока продолжал еще существовать и сам литературный этикет, питавший в этом отношении творчество Аввакума.

Литературный этикет древней Руси нуждается во внимательном изучении. Многие вопросы литературной формы смогут быть объяснены в результате исследования этого специфического для русского средневековья явления. В данном сообщении мы ограничились самой предварительной постановкой вопроса, отнюдь не исчерпав всех тех проблем, которые возникают в связи с данной темой. Предстоит еще произвести много частных и общих исследований — прежде, чем вопрос этот станет более или менее полным как предмет изучения.

В частности, чрезвычайно важно внимательно изучить и противоборствующие литературному этикету явления, разрушавшие литературные

каноны, ибо художественные методы средневековья чрезвычайно разнообразны и не могут быть упрощены, а тем более целиком сведены к литературному этикету и литературным канонам. Всякого рода категоричности и ограничивающие суждения были бы здесь только вредны. Следует стремиться видеть явления литературного этикета и литературных канонов во всей их широте, разнообразии, но, вместе с тем, и не преувеличивать их значения в средневековой литературе.